



УДК 81'1
ББК 81.001.1

«ПРОРОК» А.С. ПУШКИНА И МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ О. РОЗЕНШТОКА-ХЮССИ

С.Б. Калашиников

В статье модель коммуникативной грамматики О. Розенштока-Хюсси проецируется на стихотворение А.С. Пушкина «Пророк». Автор выявляет первичную схему универсального мета-сюжета творчества А.С. Пушкина «поэт – Бог» и связывает ее с функцией императива в теории Розенштока-Хюсси, а также особым типом диалогических отношений внутри потока языка.

Ключевые слова: коммуникативная модель, коммуникативная грамматика, поток языка, мета-физика языка, поэзия, диалогические отношения.

Исходным пунктом коммуникативной грамматики О. Розенштока-Хюсси становится общий вопрос о функции языка в культуре. По мнению мыслителя, грамматические формы описывают определенные способы согласования пространств и времен с целью превращения их в единое пространство-время. Интерпретированная в таком ключе грамматика служит Розенштоку-Хюсси методом, с помощью которого осмысливается текущий социальный процесс. При этом вся история предстает в качестве последовательности форм речи и, следовательно, способов организации пространственно-временного континуума культуры. Традиционное грамматическое учение при этом воспринимается как вторичное по отношению к языку, возникшее на основе аналитических рефлексий над ним. Расчленяющий и дифференцирующий тип этих рефлексий позволяет соотносить слова и группы слов в языке с определенными категориями – частями речи, родом, числом, падежом и т. д., однако не дает представления о функции и предназначении языка в целом.

Как известно, первые в европейской научной традиции грамматические учения были созданы на основе аристотелевской «метафи-

зической формализации бытия» [5, с. 234], основу которой составлял принцип типизации и соотнесения того или иного явления с абстрактно-отвлеченной категорией. При таком «утилитарном» подходе к языку истина познается, а точнее – моделируется через человеческие представления о грамматике. Поэтому Розеншток-Хюсси считает, что в современных лингвистических и антропологических исследованиях подлинная функция языка остается скрытой: «Грамматика – это не наука, свободная от ценностей. Но в ее современной форме она является казнью языка, лишаящей язык какой-либо ценности. Она разрывает связь между Богом и человеком, в качестве каковой нам и был дан язык» [7, с. 117]. При анализе речи существенным считается лишь говорящий, тогда как слушающий исключается из рассмотрения. Тем самым утрачивается возможность понять речь как систему межчеловеческих отношений, а основой ее изучения становится следующая последовательность: мышление – речь (письмо) – слушание (чтение). Если же считать слушающего неотъемлемым элементом речевого акта, то должна быть принята следующая последовательность: речь (письмо) – слушание (чтение) – мышление. Важное значение при этом играет понятие одухотворения, которое, подобно понятию духа, философ толкует как способность языка к сплавива-

нию, объединению людей. Языки были, по Розенштоку-Хюсси, орудием одухотворения, и они делают одухотворение бессмертным. Язык – это первоначально не орудие мышления и не средство передачи некоторого «сообщения» (такую функцию он приобретает позже), а средство разрушения биологической обособленности, превращения особи из экземпляра рода в родовое существо. Это означает, что язык не мог возникнуть в повседневных ситуациях, а являлся продуктом одухотворяющего ритуала, для которого характерно экстатическое перенапряжение всех человеческих сил. Именно язык оказывается главным средством создания длящихся условий совместного существования людей: «Язык, чтобы он обладал устойчивым существованием, должен возникнуть в ситуации риска, когда ставкой является само человеческое существование» [7, с. 88].

Нужно заметить, что такое отношение к речи вообще и письменному тексту в частности вполне соотносимо с представлениями о сакральной функции речи, сложившимися еще в средневековой книжной традиции, в которой мир представлялся книгой, то есть текстом, воплощающим в себе Божественный смысл: «Символом мира, – отмечает Б.А. Успенский, – является книга, а не система правил, текст, а не модель. Вместе с тем грамматика – это именно модель мира; как всякая модель, она позволяет порождать тексты, наполненные новым смыслом, в том числе и тексты, заведомо ложные по своему содержанию» [8, с. 17].

Поэтому основное состояние языка, по мнению Розенштока-Хюсси, – это ритуал, поэзия и история. Только в этих трех сферах язык реализует себя в объединяющей людей функции и способен передавать одухотворение человеческого рода. Только в ритуале, поэзии и истории как сферах наиболее интенсивного взаимодействия людей становится ясно, насколько говорящий человек допускает воздействие им сказанного на самого себя: «Серьезной и действительной оказывается та речь, которая обязывает к чему-то самого говорящего» [7, с. 90]. «Одни и те же слова могут быть и пустыми, и могут восприниматься серьезно, – продолжает мыслитель. – В чем заключается разница? В степени того

воздействия, которое оказывают эти слова на меня самого! Ни к чему не обязывающее слово соблазняет бесчисленное количество слушателей. Но оно никогда ни к чему не обязывает самого говорящего человека. Тот, кто обязывает, сам зачастую не способен обязать себя. И в то же время слово, сказанное самому себе, даже никем не услышанное, может обязывать меня к чему-то гораздо больше, чем сказанное публично и услышанное всеми. Этим слово отличается от необязательных фраз. То есть видимость и действительность, игра и серьезность отличаются друг от друга тем, допускает ли говорящий человек воздействие им сказанного на самого себя» [7, с. 91].

Таким образом, наши поступки строятся на основе такой речи, которую говорящий человек относит прежде всего к самому себе и с помощью которой он призывает самого себя к совершению того или иного действия: «Слово может быть действительным лишь в той мере, в какой оно влечет за собой соответствующий поступок. Будучи подтвержденное событием или поступком, оно только и начинает обладать всей полнотой своего смысла» [там же, с. 110]. Монологический тип сознания характеризуется именно тем, что императивы (повеления), исходящие из него, не оказывают на него самого никакого воздействия. В то время как диалогическое сознание, ориентированное не только на говорение, но и на слушание, одинаково значимыми участниками речевой коммуникации делает и говорящего, и слушающего: «Речь с самого начала предполагала слушание. Два лица, когда они говорят, объединяются. Поэтому никто не говорит сам. Каждый ссылается на то единство, которое охватывает его самого и его слушателя» [там же]. Речь воспринимается в этой системе не как свод грамматических правил, а как публичное поведение. Когда наступает полное совпадение обстоятельств и суждений, то язык обретает высшую власть над говорящим и слушающим и наступает божественная полнота времени: прошлое, настоящее и будущее воспринимаются в единстве в момент произнесения речи. Таким способом речь из компетенции грамматики переходит в ведение метафизики и обретает провиденциальный смысл.

Первичными формами коммуникации, по мнению О. Розенштока-Хюсси, становятся звательный падеж и императив: звательный падеж вовлекает другого в разговор, а императив требует отклика на уровне действия. Функция этих категорий, таким образом, состоит не в звукоподражании и не в обслуживании совместной трудовой деятельности людей, а в создании некоего духовного единства, внутри которого и будет проходить дальнейшая коммуникация: «Что-то говорится лишь для того, чтобы действие и его исполнитель... могли встретиться. Ведь подлинный императив объявляет действие столь необходимым, что должен обнаружиться его исполнитель. Отдающий приказание претендует на знание необходимости действия, и он ищет исполнителя этого действия» [7, с. 111]. Слушатель должен ответить. Лишь тогда появляется то единство, целью которого становится некое действие.

В последнее десятилетие пушкинское стихотворение «Пророк» чаще всего рассматривается исследователями в связи с ситуацией его написания, которая, по мнению многих [2, с. 127–173; 3, с. 216–230], связана с личной аудиенцией Пушкина у Николая I. Однако нам представляется, что более актуальным является его рассмотрение с точки зрения речевой организации, тех глубинных коммуникативных процессов, которые лежат в его основе. Именно они, по нашему мнению, обеспечивают восприятие этого текста как некоего сакрального прецедента в творчестве А.С. Пушкина.

Пушкинский поэт живет в постоянном «экзистенциальном напряжении», в сфере которого только и оказывается возможным все сущее. Сама потенциальная способность поэта говорить возникает исключительно в «ситуации риска», когда самое его существование оказывается под угрозой, а личная самоидентификация становится затруднительной или даже невозможной. Состояние «духовной жажды» характеризует именно такое состояние, когда необходимость личностного самоопределения становится доминантой существования, но при этом ни одна из предшествующих жизненных ценностей уже не обладает актуальностью. Потенциальная готовность поэта к говорению как бытийному акту ищет

некоего соответствия в получении принципиально нового предназначения, однако возможность возложения на себя избраннического удела по собственному хотению исключается: он санкционируется только свыше.

Для того чтобы призывание (причем в буквальном смысле – призывание) состоялось, говорящий и слушающий должны оказаться в одном пространстве-времени. В «Пророке» таким «совместным» пространством становится пустыня, а временем не просто момент остановленного настоящего, а именно время во всей полноте и совокупности прошлого, настоящего и будущего. «Всякий пространственно-временной язык истинно, осмысленно и действительно представляет совокупную крестообразную систему всех времен и всех пространств», – отмечает Розеншток-Хюсси [7, с. 102]. Думается, мифосимволический образ перепутья появляется в стихотворении неслучайно: он означает пересечение всех времен и пространств в одном сакральном месте. В «Пророке» «время изгибается так, как всегда происходит при проникновении Бога во время: исходной точкой является настоящее время и присутствие человека, воплощающего Слово Бога» [там же]. Прошлое поэта совмещается с его будущим предназначением в точке настоящего, когда «слушатель, говорящий, тема друг за другом соотносятся с этим моментом времени, с этой точкой пространства» [там же, с. 103].

Диалогическое понимание «слова» у Пушкина сводится к тому, что и говорящий (Бог), и слушающий (поэт) должны находиться в особой ситуации говорения и слушания одновременно. «Это говорение в процессе слушания и слушание в процессе говорения. Тому, к кому обращаются по имени, приписывается та же степень жизни, что и у говорящего» [5, с. 237–238]. Сказанное слово непременно должно возвращаться к тому, кто его произнес – и благодаря этому «отклику» человек «приходит к самому себе, преодолевая крайности методического безумия солипсизма и экстаического безумия ревущей толпы» [там же, с. 301]. В первом случае (солипсизм) предполагается монолог одинокого сознания, полная автокоммуникация, где человек (мыслитель) является единственным слушателем самого себя и переживает истину и присваивает пра-

во на ее обладание себе в горделивом одиночестве (таковы пушкинский Сальери и Демон). Во втором случае (толпа) говорящему принципиально не нужно слушать самого себя, ему важно лишь, чтобы его услышали другие. Речь толпы – речь, которую не слышит она сама (как, например, народ в «Борисе Годунове» при восшествии на престол царя Бориса). В первом случае мера ответственности определяется личным произволом, во втором она распределяется между «всеми ревущими», то есть ответственность становится коллективной, а не персональной. Но такая позиция закономерно ведет к экстатическому безумию коллективного беспамятыства в качестве высшей степени переживания истины. Именно в таком состоянии находится толпа в пушкинском «Борисе Годунове», когда приветствует в первоначальной редакции финальной ремарки самозванного государя: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!»

Поэтому можно утверждать, что в художественной метафизике Пушкина диалогические отношения между Богом и человеком становятся художественной доминантой, своеобразным метасюжетом. И в этом смысле «божественный глагол» не сотрясение воздуха, а событие (со-бытие), то есть взывание к бытию с помощью слова, поскольку «человеческое слово сотворено божественным словом и именно в силу этого соучаствует в творении и в то же время является орудием Откровения» [5, с. 300]. По этой причине живой Бог Пушкина продолжает процесс творения и в истории, и в судьбе отдельного человека. Для него нет готовых схем «завета», он появляется и исчезает по своему произволу. От поэта требуется постоянная готовность услышать (как в стихотворении «Эхо») Его слово и передать его дальше (людям), о-существляя и продолжая акт творения во времени своей жизни и истории, то есть личного и общего ритма, благодаря чему Обетование и творение длятся непрерывно.

Таким образом, в «Пророке» слово Бога заповедано, то есть все сущее рассматривается как еще не завершенное, ему еще предстоит стать тем, чем ему заповедано стать. «Так как направленное на человека слово еще не закончило своего действия, – отмечает А.И. Пигалев, – то исходящая от него “тяга”

должна заставить человека измениться, продолжая тем самым процесс творения» [5, с. 300]. Это слово исходит из источника абсолютной духовной важности и требует от поэта не просто ответного слова, но внутреннего соответствия тому, что было заповедано и определено заветом:

Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей [6, с. 150].

Поэту только предстоит (после свершившейся в стихотворении метаморфозы) научиться понимать смысл того, в чем его предназначение, научиться внутренне соответствовать этому предназначению *во времени и сквозь время* (то есть вне его).

В «Пророке» императивы Бога были поставлены («встань», «виждь», «внемли», «исполнишь» и «жги»), но еще пока не исполнены. Их выполнение растянуто во времени и пространстве и не предполагает мгновенной реализации. Напротив, именно длительное выполнение повеления еще только должно превратить поэта в пророка. В императиве, таким образом, полное предложение произносится не одним лицом, а двумя: Богом – здесь и сейчас, а пророком – в будущем. Длительность этого звучания определяется протяженностью всей жизни поэта с момента получения повеления и до его преосуществления, то есть до ответа всей своей жизнью на это повеление. Действие и его исполнитель, таким образом, становятся одним целым и сливаются воедино не только в пространстве-времени их первой встречи, но и далеко за пределами этого континуума. Метаморфоза, осуществленная в «пустыне мрачной», предполагает не ситуативную однократность нового качественного состояния поэта, но его распространение в «моря и земли», максимально удаленные от сакрального места, где было передано слово Бога.

Полное совпадение обстоятельств и суждения наступает только в так называемом «Памятнике» 1836 года. В этом отношении прав В. Непомнящий: «Голос, на который он (Пушкин. – С. К.) отвечает, прозвучал десять лет (почти полных, без нескольких дней) назад. Это – “Пророк”. К нему “воззвали” в свое время, прозвучал “голос”, и теперь он отвеча-

ет. Это не “памятник”, а отчет о проделанной работе: как он выполнил веленое» [4, с. 446].

«Обходя моря и земли» – та часть завета-императива, которая оказывается исполнена в пространстве, контуры которого отчетливо обозначены в «Памятнике»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык [6, с. 460].

Как отмечает А.А. Белый, «в трактовках третьей строфы слово “языки” обычно берется лишь в одном значении – “народы”. Учитывая эрудицию Пушкина, можно думать, что в слове “язык” отразилась и философская рефлексия над языком, понимание его как формы развития человеческого духа. По Гердеру, например, “гений народа более всего открывается в физиологическом образе его речи”, язык является “зеркалом нации”. В таком значении оно придает третьей строфе смысл антитезы – “мощи” противопоставлена культуротворческая сила народов, с которой связывается будущее России» [1, с. 39–40].

Здесь перед нами возникает образ не столько географического пространства (как, например, в «Памятнике» Державина, где действительно перечислены только «моря и земли»), сколько пространства-времени, объединенного именно священным языком поэзии:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит [6, с. 460].

Причем «славен» здесь означает отнюдь не «прославляем», а «известен».

«Глаголом жги сердца людей» – еще один императив, полученный поэтом в «Пророке», обозначенный в «Памятнике» как исполненный, но уже не столько в пространстве-времени, сколько во времени:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал [там же].

Наконец, еще один императив «исполнись волею моею» получает полноту выпол-

ненного действия в последней строфе «Памятника»:

Веленью Божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца [6, с. 460].

Дар подвластен только Дарителю, которому и должен быть возвращен. Если поэт-пророк исполнился волей обратившегося к нему, то он не имеет права распоряжаться даром по собственному усмотрению – ради славы или выгоды. Дар поэта – это не его собственная заслуга, а возложенная на него обязанность, некий императив, который должен быть исполнен всей своей жизнью и возвращен Дарителю как выполненный. Поэтому обида или награда, хвала или клевета безразличны пушкинскому поэту: это состояния, переживаемые и актуальные в другом типе коммуникации – монологического романтического типа говорения, солипсически замкнутого на своих рефлексиях и исключительном речевом имидже.

Поэтому нельзя не согласиться с очень точным наблюдением В. Непомнящего: «Пятая строфа и в самом деле – другая и о другом, чем все предыдущие; и связь тут в самом деле отчасти парадоксальная. В четырех строфах – десять раз сказано: “я”, “я”, “мой”, “я”, “обо мне”, “меня”, “я”, “я пробуждал”, “восславил я”. В пятой “я” *отсутствует совсем* – есть только “велеенье Божие” и Муза. Снимается проблема не только личных “заслуг”, но и личного авторства. Этим главным пушкинский “Памятник” и отличается от всех “Памятников” (Горация, Ломоносова, Державина – С. К.). Там “я” было полновесным “я”, и все сделанное было личной заслугой, и Муза сама себя венчала; там не было “велеенье Божия”; там движение было горизонтально-историческим. Здесь миссия поэта осмысливается иначе, и движение вертикально» [4, с. 446].

Таким образом, пушкинский «Пророк» демонстрирует новую модель функционирования языка поэзии и его восприятия, когда речевой поток выражает собой таинство евхаристии, а сам акт говорения совпадает со словом и поступком. Он осуществляет сакрализацию образа поэта именно через сакрализацию речевого акта, самого процесса говорения, где речевая коммуникация устанавлива-

ется не в горизонтальном историческом времени и не в горизонтальном географическом пространстве. Пушкин создает «Пророком» прецедентную для русской поэзии модель вертикальной коммуникации вне конкретного времени-пространства, то есть коммуникации, которая осуществляется над любым пространством-временем и длится в вечности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белый, А. А. Разговор о Памятнике / А. А. Белый. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://pushkinistika.narod.ru/bely/razgovor/razgovor.html>. – Загл. с экрана.
2. Есипов, В. М. Пушкин в зеркале мифов / В. М. Есипов. – М.: Яз. слав. культуры, 2006. – 560 с.

3. Немировский, И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта / И. В. Немировский. – СПб.: Гиперион, 2003. – 352 с.

4. Непомнящий, В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина / В. С. Непомнящий. – М.: Сов. писатель, 1987. – 448 с.

5. Пигалев, А. И. Культура как целостность: (Методологические аспекты) / А. И. Пигалев. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. – 464 с.

6. Пушкин, А. С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 2 / А. С. Пушкин. – М.: Худож. лит., 1959. – 800 с.

7. Розеншток-Хюсси, О. Коперниковский переворот в грамматике / О. Розеншток-Хюсси // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – 1996. – № 1. – С. 82–149.

8. Успенский, Б. А. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси / Б. А. Успенский // Избранные труды. В 3 т. Т. II. Труды по языкознанию. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Шк. «Яз. рус. культуры», 1996. – С. 5–28.

THE “PROPHET” BY A.S. PUSHKIN AND O. ROSENSTOCK-HUESSY’S MODEL OF COMMUNICATIVE GRAMMAR

S.B. Kalashnikov

The O. Rosenstock-Huessy’s model of communicative grammar is projected on A.S. Pushkin’s poem “The Prophet” in the article. The author reveals the primary scheme of a universal metaplot in creativity of A.S. Pushkin “the poet – the God” and connects it with the imperative function in Rosenstock-Huessy’s theory as well as the special type of dialogical relations in a language stream.

Key words: *communicative model, communicative grammar, language stream, language metaphysics, poetry, dialogical relations.*